

≈ 30 мин

...Темп жизни мира становится быстрее, ибо всё глубже в тайные недра её проникает могучая тревога весеннего пробуждения, всюду ясно чувствуется мятежный трепет — потенциальная энергия сознаёт свою творческую мощь и готовится к деянию.

Медленно, но неуклонно растёт в народе самосознание, загорается солнце социальной справедливости, и под дыханием грядущей весны заметно тает холодный и тяжкий покров лицемерия и предрассудков, бесстыдно обнажается уродливый остов современного общества — тюрьмы человеческого духа.

Миллионы глаз горят радостным огнём, всюду сверкают молнии гнева, освещая веками накопленные тучи глупости и ошибок, предубеждений и лжи; мы — накануне праздника всемирного возрождения народных масс.

Придавленный к земле, окованный цепями рабьего труда, народ поднимает голову, уже видны черты его вечно юного лица.

Люди, которые знают, что народ есть неиссякаемый источник энергии, единственно способный претворить всё возможное — в необходимое, все мечты — в действительность, — эти люди счастливы! Ибо в них всегда было живо творческое чувство своей органической связи с народом, ныне это чувство должно вырасти, наполнив их души великой радостью и жаждой творчества новых форм для новой культуры.

Признаки возрождения человечества — ясны, но “люди культурного общества” якобы не видят их, что, впрочем, не мешает мещанам чувствовать неотразимую

близость мирового пожара.

Тупые орудия процесса накопления богатств, сознательные участники насилия над волею народа, они осуждены защищать свои безнадежные позиции и прячутся в тесную клетку своей культуры, которой называют внушённое им и умертвившее их души убеждение в том, что власть капитала — навеки законна, навсегда незыблема, они теперь даже и не рабы своего хозяина, а домашние животные его.

Рабы перерождаются в людей — вот новый смысл жизни! И потому владыки должны исчезнуть, ибо владыка только паразит раба.

Здесь нет парадокса: раб и владыка—два конца одной и той же психологической линии, раб живёт смутной мечтой о власти, владыка же — страхом за свою власть. Но когда раб понял цену свободы, почувствовал своё право на неё — он становится человеком, а человек — бесстрашен, и власть над подобными себе противна ему.

Пришло время, когда разумнее уступить силе необходимости, чем способствовать накоплению законного гнева и жестокости, которую может вызвать он...

Но было бы бесполезно рассказывать слепым от рождения об игре красок на лице моря, еще более бесполезно убеждать командиров жизни и мещанство — армию их — в том, что они враги самих себя.

Медные головы этих людей не знают иных аргументов, кроме золота и железа,

свинца и других металлов, из которых скованы цепи их власти.

Жизнь растёт, и современное общество ощущает судороги почвы под ногами своими, — это ясно звучит во всей его психологии, а яснее всего видимо в общем страхе пред завтрашним днём.

Душа человека сего дня — пустыня, и он с невольным трепетом ждёт, что завтра в ней явится нечто неведомое, враждебное ему, оно встанет в душе, как сфинкс, и повелительно предложит человеку решить назревшую социальную задачу.

Предчувствуя этот роковой визит необходимости, сознавая себя мёртвым пред нею, мещанин хочет спрятаться где-нибудь, хочет заполнить чем-нибудь трясины внутри себя — ему страшно лишиться привычного покоя уюта, хотя этот покой скорее самогипноз, чем реальность.

Любимые уголки, куда прячется мещанство от жизни, давно известны ему: это — бог, метафизика и цинизм.

Но бог только для того, кто может создать его в душе своей силою веры и оживить огнём её, — в маленькой душе современного человека погасли все огни, во тьме её нет места не только богу, но даже идолу тесно.

Метафизика хороша после победы, а перед боем необходимо точное знание, метафизика не может успокоить сердца, смятённые предчувствием поражения.

Когда человек хочет узнать — он исследует, когда он хочет спрятаться от

тревог жизни — он выдумывает.

Наши суровые дни не дают времени для выдумок — попытки мещанства скрыться в туманах метафизики неудачны.

Наконец, метафизика есть творчество. Как всякое деяние, она требует вдохновения и силы — любви или ненависти, а мещанство ничего не любит и не имеет силы для ненависти.

Отрицать это трудно, ибо оно само устами своих поэтов и писателей не однажды сознавалось и всё чаще сознаётся в том, что переживает духовный кризис, банкротство духа. Следует сказать — агонию духа.

Средством самозащиты против напора исторической справедливости мещанство избрало цинизм.

Офицеры, участники последней войны, рассказывали, что, когда солдатам приходилось сдавать позиции врагу, они старались не только разрушить всё, что поддавалось разрушению, но загрязнить и запачкать даже землю, защищавшую их.

То же самое наблюдается в литературе и жизни наших дней, — предчувствуя близость сдачи позиции народу, будущие побеждённые усиленно стараются испачкать всё, что можно.

Разумеется, среди разрушаемого есть много старого, изжитого, всё это давно нужно бы уничтожить, — и, таким образом, мещанство выполняет часть той

необходимой грязной работы, которую должны были бы выполнять победители, когда им придётся очищать место, где господа культурные люди насильствовали друг друга.

Я не утверждаю, что мещане грязнят жизнь сознательно: разврат большого ума и изношенного тела — с одной стороны — результат дегенерации и пресыщения благами жизни, с другой — выражение жуткого отчаяния, вызванного близостью общественной катастрофы.

Человек взбесился от страха, оголил в себе животное и буйно рвёт социальные путы.

Так или иначе, однако циники, разлагаясь, заметно портят воздух, и как скажешь, что в этой их работе нет смутного желания отравить победителя, привив ему все болезни своей души и тела?

Может быть, существует мысль, ещё не оформленная сознанием: “Вы победили, но — погибнете в грязи, которую мы оставим в наследство вам...”

Современный цинизм одевается разнообразно, — всего грубее и наименее умно — в чёрный плащ пессимизма.

— “Суэта суёт и всяческая суэта!” — бормочет мещанин мёртвые слова, романически драпируясь в лохмотья своей дряхлости.

Жизнь трепещет в жажде свободного творчества, тысячи героев свято и гордо гибнут в борьбе за осуществление великой мечты всемирного братства — циник

это знает.

— “Род приходит и снова уходит”, — говорит он, спрятав лицо своё в древнюю книгу, где мятежная мысль человека пробовала силу бога, созданного ею, пробовала и горько сомневалась в силе и красоте его.

Когда видишь, что за этой навсегда красивой, гордой книгой прячется жалкая фигурка трусливого циника, прячется и тупоумно клеветает на мудрого ради оправдания лени своей или бессилия своего, — обидно за книгу.

Когда-то красивый и круглый, созданный любовью и гневом искренних людей, теперь пессимизм изжёван болтунами, испачкан слюною мещан, захватан их грязными пальцами и превратился в бесформенное месиво избитых пошлостей — их стыдно слушать.

— Мы никогда ничего не узнаем, мы не можем разгадать тайны, окружающие жизнь, — говорят циники и погружаются в болото разнузданности.

Но когда циники слышат, что кто-то, неустанно исследуя тайны жизни, обогатил мысль человечества новой догадкой, придал работе изучения природы новую энергию, — это их, видимо, раздражает.

— Все ваши усилия бесполезны, вы ничего не знаете, ваш познавательный аппарат навсегда несовершенен, — почему-то волнуясь, сердито доказывают они.

Здесь циник похож на кривого нищего, который сказал кузнецу, назвавшему его

кривым:

— “А ты тоже урод — у тебя два глаза!..”

— Стоит ли жить? — спрашивает циник.

Затем он приводит массу доказательств в стихах и в прозе в пользу того, что жить не стоит, и — живёт долго, охотно, сытно и спокойно.

Ибо, если уж решено, что жить не стоит, тем менее следует делать что-нибудь для ускорения хода жизни, для роста милой красоты и простой, светлой правды её. Можно только просто жить, просто сосать чужие соки, наделать кучу ошибок, защищая своё личное бытие и собственность — главное, собственность! — укрепить старые предрассудки, создать несколько новых, развращать женщин, насорить везде, напачкать, затем в холодном ужасе пред неизбежностью слить пустоту своей души с пустотой вечности, долго умирать в трусливых судорогах, в жалких криках и, наконец, очистить землю от своего присутствия на поверхности её, оставив в наследство народу ещё более осложнённую своим участием тяжкую путаницу клейких лжей, мёртвых слов, дрянных предубеждений и кучу прочего хлама.

— Стоит ли жить человечеству? — спрашивает циник и, хватая отовсюду искалеченные им мысли, быстро решает, опираясь на кости мёртвых:

— Нет...

Это несколько преждевременное решение вопроса — он может быть решён так

или иначе лишь тогда, когда вся масса белых, жёлтых и чёрных людей познает все блага жизни, испытает все наслаждения духа и тела, рассмотрит всю гигантскую работу человечества за века его бытия, поймёт всю силу любви, страданий и подвигов прошлого, оценит все великие заветы своих предков, равномерно разделит между всеми и каждым весь неизмеримый опыт их.

Может быть, тогда люди единогласно постановят взорвать земной шар — это их право.

Но когда паразиты на теле немого великана решают вопрос о ценности бытия его — это противно и смешно, это — цинизм!

Человек почти всё своё может сделать красивым, некогда он и цинизм свой показывал миру в очертаниях ярких, сильных, но цинизм наших дней удивительно уродлив и пошл.

Ироды трепещут за власть свою, зная, что родилась новая религия, они спешат истребить всех верующих в возможность царствия человеческого на земле, которую Ироды привыкли считать навеки царством мерзости своей.

Смерть глотает тысячи жертв, погибают люди, наиболее нужные для целей жизни, ибо гибнут верующие. Об этом истреблении людей можно говорить только с гневом, только с отвращением или же, памятуя, что народ бессмертен, мужественно молчать; здесь нет места стонам и жалость так же оскорбительна, как необходима месть.

Но в убийствах не смерть виновата, а безумие тех, кто озверел от страха.

Когда же смерть законно является во время своё, когда она просто и спокойно приходит убрать с дороги жизни ветхое, отжившее, уже полумёртвое, — что, кроме благодарности, можно питать к ней?

Может быть, иногда она заслуживает осуждения, ибо порою невнимательна к делу своему — многие люди живут слишком долго, видимо, забывая, что мудрый должен умереть вовремя.

Но всё здоровое и простое чуждо циникам, и они, конечно, не могут представить себе, как отвратительна была бы жизнь, будь мещанство бессмертно.

Страх жизни понуждает их много говорить и думать о смерти, они усердно лижут её кости трусливыми языками и, точно нищие, просят у неё милостыню внимания к ним. В суждениях о ней у них всегда звучит нечто холопское, как будто лакей, боясь, что госпожа уличит его в краже сахара, заранее старается смягчить гнев её грубою лестью.

Смерти боятся, и, вероятно, боятся искренно; должно быть, день и ночь мещане носят в себе тяжкий гнёт жуткого ужаса пред нею и слагают в честь её лживые гимны, осыпают скелет её бумажными цветами своей холодной фантазии, кланяются ей и ползают у ног, не смея взглянуть в спокойное и мудрое лицо, бормочут о великой силе и мрачной красоте смерти, но представляют себе лик её безобразным.

Смерть с презрением отвёртывается от них — она, должно быть, брезглива, судя по тому, как долго не прекращает противные страдания поражённых

сифилисом, проказою, прогрессивным параличом и не обрывает тягучую, липкую нить жизни пошляков.

У циников есть страх пред смертью, но — ещё больше игры с нею, всё той же игры в прятки с жизнью.

Жизнь требует от человека деяний, подвигов, силы, красоты — циники говорят:

— Нет жизни, есть только смерть...

Нет идеалов, нет воли создать их, но осталась жива рабья привычка опускаться на колени, она создаёт идолов, и в молитвах им циники удобно прячутся...

Иногда, притворяясь искренно страдающим, циник стонет:

— “Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю!..”

Лжёт! Должен сказать:

“Я пожрал от всего, что мне казалось сладким, и отравлен пресыщением”.

“Жизнь и смерть — две верные подруги, две сестры родные, времени бессмертного бессмертные дочери”. Одна вся в солнечных лучах, окрылённая чудесными и тайными мечтами, вечно горит пламенем творчества, безумно щедрая, всегда влюблённая. Другая — рядом — задумчивая, скромная, вся белая и гордо чистая, величественно строгая, с глубокими глазами цвета ясных небес летнего вечера, и в глазах её тихо мерцает добрая дума о жизни, мягкая улыбка трудам её.

Жизнь неустанно сеет по земле семена свои, и всё трепещет радостью на путях её, растёт, цветёт разнообразно, ярко, поёт и смеётся, опьянённое солнцем. Но, творя, жизнь ищет, она хочет создавать только великое, крепкое, вечное и, когда видит избыток мелкого, обилие слабого, говорит сестре своей:

— Сильная, помоги! Это — смертное.

Смерть покорно служит делу жизни...

Цинизм является перед людьми в пёстрых одеждах “новой красоты”.

— “Мера жизни — красота!” — возглашает циник чужие слова, глубокий смысл которых враждебен цинизму.

Вокруг уродливые дети выродившегося мещанства, дети без крови в жилах, полубольные женщины, в которых умерло чувство красоты, изнурённые развратом юноши, разбитые ревматизмом, искалеченные подагрой, полоумные старики...

На улицах — живые памятники творчества мещан: безголовые хулиганы — их дети, гнилые проститутки — их жертвы, — красота!

И отовсюду смотрят полуслепые, гнойные глаза нищеты, везде развеваются её заразные лохмотья, со всех сторон тянутся за милостыней тысячи грязных, костлявых рук, — какая красота!

В хаосе полумёртвого от голода тела, в чёрном вихре рубищ вертится

обожжённый развратом и болезнями циник, с бессильными мускулами, с размягчёнными костями, с безумной, предсмертной жаждой острых наслаждений и тусклыми глазами на жёлтом лице под голым черепом, это — “новая красота”?

Он ходит по городам, как мародёр по полю битвы, как вор по кладбищу, и говорит:

— Служу красоте!

И становится на колени перед кучей пёстрых пустяков, прячется от безобразия окружающего за груды жалких выдумок, — тут рисуночки, игрушечки, статуэточки, изящные книжечки — маленькие плоды напряжённого труда мелких душ. Вся эта мелочь, сделанная наскоро, в виду сильного спроса, заполняет комнаты и души циников, ослепляя глаза пестротой красок, оглушая звоном пустых фраз, приятно раздражая тупые нервы своей пряностью, и за нею тихо исчезают, становятся неясными образы великих творцов вечной красоты. Гаснут святые гимны поэтов прошлого, забываются их имена, заглушённые громким базарным шумом жрецов “нового искусства”, покорнейших слуг мещанства.

— Новая красота, — говорят циники, углубляясь в созерцание мелочей и стараясь забыть, что красота бессмертная — в любви, а не в похоти, в деянии, а не в покое, в росте духа человеческого, в воплощении мечты.

Раскололи мещане маленькие души свои на мелкие куски и всё более раскалывают их и — живут в розницу, пленённые крошечными забавами своими.

А вокруг них всё более часто, всё более обильно и всюду льётся яркая кровь того гиганта-поэта, который создал всех богов и Прометея, Мойру и птицу Феникс, Христа и Сатану, Фауста и Агасфера, тысячи сказок, саг, легенд, песен. Льётся кровь того, кто и доныне не превзойдён в творчестве.

Мы назвали бессмертными тех, кто умел красиво и просто пересказать нам великие творения народа, а народ — первейшего творца красоты по силе и по времени, — народ низвели на степень орудия нашей жадности, ограбили силу его, исказили бессмертную душу — и теперь циники говорят:

— Груб он и глуп, народ; жесток и развратен!

Справедливо сказано, что в чужой стране каждый видит только то, что приносит в себе самом!

Говоря так о народе, циники представляют себе ту массу дегенератов, которых они же расплодили в жизни и которые социально более близки им, психологически более понятны, чем народ, далёкий от них, непостижимый для них к своей глубоко скрытой целомудренной духовной жизни...

Народ мог бы ответить циникам словами Иова: “Сколько знаете вы — знаю и я не хуже вас. Но я хотел бы ко вседержителю говорить, я хочу состязаться с богом!”

Вот теперь он снова начинает сознавать силы свои и своё право на свободу, он поднимается с земли, рвёт путы свои, а циники прячут головы перед лицом его и, косноязычные от страха, говорят друг другу:

— Идут варвары... культуре грозит гибель... наша культура!

Всё это — ложь и клевета, это цинизм и только!

Разве культура — ваша любовь и страсть, разве она — ваша религия, разве она священна для вас?

Смотрите — народ жаждет культуры, это за обладание ею борется он, а — где вы?

Вы или прячетесь от участия в борьбе за возрождение и свободу духа, или идёте вместе с явными врагами народа против культуры.

Лжёте вы, говоря, что любите её, ничего вы не любите и даже самих себя не умеете любить.

Все вы родились голыми и так живёте, и нет лжи, которая скрыла бы безобразие наготы вашей.

Лучше бы родиться вам честными или не рождаться совсем, не осквернять бы прекрасную трагедию жизни своим жалким вмешательством!

И не говорить бы вам о красоте, ибо вы можете изнасиловать, но бессильны оплодотворить!

Свобода любит красоту, а красота — свободу.

Но — разве вы свободны?

И разве — красивы?

Цинизм прикрывается и свободой — исканием полной свободы, — это наиболее подлая маска его.

Литература, устами наиболее талантливых писателей, единогласно свидетельствует, что, когда мещанин, устремляясь к полной свободе, обнажает своё “я”, — перед современным обществом встаёт животное.

Очевидно, это явление неизбежное и независимое от воли авторов. Их усилия почтенны и ясны — им хочется дать поучительный образ человека, совершенно свободного от предрассудков и традиций, связующих мещан в целое, в общество, стесняющее рост личности, им хочется создать “положительный тип”, героя, который берёт от жизни всё и ничего не даёт ей.

Герой, являясь на страницах романа, более или менее остроумно доказывает своё право быть тем, что он есть, совершает ряд подвигов ради самоосвобождения из плена социальных чувств и мыслей, и если окружающие персонажи вовремя не задушат его или он сам не убьёт себя, то в конце книги непременно является перед читателем из мещан как новорождённый поросёнок, — как поросёнок — это в лучшем случае.

Читатель хмурится, читатель недоволен. Там, где есть “моё”, непременно должно существовать совершенно автономное “я”, но читатель видит, что полная свобода одного “я” необходимо требует рабства всех других местоимений, — старая истина, которую каждый усиленно старается забыть.

Мещанин слишком часто видит это, ибо в практике жизни, в ежедневной свирепой борьбе за удобное существование человек становится всё более жестоким и страшным, всё менее человеческим.

А в то же время такие звери необходимы для защиты пресвятой и благословенной собственности.

Мещанин привык делить людей на героев и толпу, но толпа исчезает, превращаясь в социалистические партии, а они грозят стереть с лица земли маленькое мещанское “я”; мещанин зовёт героя на помощь себе — приходит вороватое и жадное существо с психологией бешеного кабана или российского помпадура.

А для этого монстра, призванного на защиту священного права частной собственности, не существует священных прав человеческой личности, да и на самую частную собственность он смотрит глазами завоевателя.

С одной стороны — многоглавая красная гидра, с другой — огненный дракон разверз ненасытную пасть, а посреди них распутно мечется маленький человек со своей нищенской собственностью.

И, хотя она для него — кандалы каторжника, ярмо раба, — он её любит, он ей верно служит и всегда готов защищать целостность и власть её всей силой лжи и хитрости, на какую способен, всегда готов оправдывать бытие её всеми средствами от бога и философии до тюрьмы и штыков!

Но это мало помогает, и, чувствуя близость конца своего, в отчаянии, может

быть, бессознательном, скромный мещанин превращается в циника воинствующего.

— Так поживу же я как хочу!

Начинает жить как может. Потому что — животное социальное — он обладает “памятью вида”, многообразным наложением общественных инстинктов, смутным чувством своей связи с людьми, которое он иногда называет совестью или стыдом и которое всегда мешает ему жить так откровенно гнусно, как он хотел бы.

Для того чтобы на закате дней бытия свободно проявить все желания своей изъязвленной души, все похоти и пороки истрёпанного тела, он, понуждаемый совестью, находит необходимым прикрывать свои безобразия вуалью некоторых высших соображений.

— Ищу последней свободы! — торжественно возвещает он, проповедуя и демонстрируя однополую любовь.

А насилуя мальчиков, провозглашает возрождение эллинской красоты и философствует на тему о том, что природа создала женщину, преследуя свои цели, но её цели — узы и цепи для человека, а потому...

— Долой узы!

Но не брезгает и женщиной, развращает и её по мере сил своих.

Женщина же всё ещё не может сбросить с плеч своих тяжкий гипноз истории, не убила в крови воспоминания о былом рабстве.

Природа наделила человека половым инстинктом, а женщина создала любовь, но она, видимо, не помнит об этом, её уважение к себе самой всё ещё слишком слабо против атавистических переживаний рабыни.

Циники знают это и умеют пользоваться этим, они сулят неизведанное, обещают открыть в любви величайшие тайны, говорят о свободе и ещё о свободе и иллюзиями, которые она любит так же страстно, как блестящие безделушки, успешно и легко заманивают в грязную тьму извращений своей похоти.

Непобедимо сильная способностью любить, всегда охваченная стремлением почувствовать любовь ещё более глубокой и прекрасной, она легко поддаётся острым раздражениям циников и, когда ей подносят яд в красивой чаше, пьёт его охотно.

Деятельность циников всего энергичнее протекает в области половых отношений — разврат не требует много силы. В этой области они работают успешно и — как это известно — достигают больших результатов, о чём, между прочим, свидетельствует “*Militarische-Politische Korrespondenz*”, сообщая, что “во многих гвардейских германских полках вводится в качестве учебного предмета просвещение рекрутов насчёт опасностей и соблазнов, связанных с гомосексуальными извращениями”. Разве это не успех?

“Я погибаю, но — перед гибелью моей изгажу всё, что успею изгадить!”

Повторяю, может быть, циники не думают столь определённо, но, оскверняя жизнь так усердно, всюду, где могут, они невольно заставляют наблюдателя объяснять себе их гадости не только желанием наслаждений, но и намерением испортить всё, что поддаётся порче.

Я не моралист, и если бы вся эта анархия дрянных инстинктов и больного духа, вся эта гниль и грязь не выходила за пределы общества мещан, она была бы для меня только процессом самоистребления в среде тех, кто не нужен и враждебен жизни.

Но буря животной распущенности, мятеж обезумевших может захлестнуть своей волной драгоценнейшее в жизни — часть того юношества, которое растёт и поднимается к вершинам духа из почвы его, из глубин народа.

Вот почему берёшь на себя противную задачу посильно осветить тот процесс разложения человека, который льстецы именуют психологией современного культурного общества.

Иногда циник гордо заявляет:

— Я хочу достичь духовной цельности, я стремлюсь к совершенству...

Он лжёт, конечно, но ему могут поверить, ибо мечта о цельности духовной — красивая мечта.

Но под маркой индивидуализма предлагается всё тот же более или менее ловко подделанный социальный цинизм.

Представим себе цельного человека как существо, в котором все здоровые свойства его психофизики развиваются гармонично, не противореча одно другому.

Возможен ли подобный человек в условиях битвы за сытость? Рост каждого “я” необходимо ограничен затратой всех сил на приобретение и охрану собственности.

В борьбе за целость её можно сделать своё “я” только более узким, специализировать его на изобретение военных хитростей, принизить гордость свою, но не развить её, отдать себя в плен жадности, зависти, злобы, но не вырваться на свободу.

Для достижения даже маленьких удобств человек должен делать большие подлости, и только в подлостях он достигает совершенства.

Циники не очень глупы: они знают, что о современных условиях битвы всех со всеми человек дробится на куски, хочет он этого или нет.

Им известно, что духовная цельность невозможна и гармонизация своего “я” недостижима у человека, — нет для этого ни времени, ни места.

Но они всё-таки зовут, заманивают и толкают в эту сторону, — один из приёмов их борьбы с неизбежным.

— Свобода — там! — говорят они и указывают место около себя и, может быть, сбивая людей с прямого пути, количественно растут.

Свобода всегда впереди и всегда — далеко!

Истинный индивидуализм в будущем, он — за социализмом, он не может быть достигнут человеком наших дней, и он — не по фигуре ему, как рыцарские латы не по фигуре горбуну.

Не “я”, но — “мы” — вот начало освобождения личности! До поры, пока будет существовать нечто “моё”, — “я” не вырвется из крепких лап этого чудовища, не вырвется, пока не почерпнёт в народе столько силы, сколько надо, чтобы сказать всему миру:

“Ты — мой!”

Тогда, наконец, человек почувствует себя воплощением всего богатства, всей красоты мира, всего опыта человечества и равным духовно всем братьям своим!

Личность целостная возможна лишь тогда, когда исчезнут герои и не будет толпы, когда явятся люди, связанные друг с другом чувством взаимного уважения.

Это чувство должно возникнуть из воспоминаний о великой коллективной работе, которую народ совершил в прошлом ради своего возрождения, это чувство должно возникнуть из воспоминаний о великой коллективной работе, которую народ совершил в прошлом ради своего возрождения, это чувство должно укрепиться сознанием единства опыта у каждого со всеми и солидарности задач всех и каждого.

А со временем это чувство уважения человека к человеку претворится в религию, ибо религией человечества должна быть прекрасная и трагическая история его подвигов и страданий в бесконечной, грандиозной борьбе за свободу духа и за власть над силами природы!

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «О цинизме» впервые напечатана в сборнике «Литературный распад», издание «Зерно», Петербург, 1908, со следующим примечанием редакции:

«В последний момент, уже во время набора книги, мы получили для сборника статью М. Горького, написанную им для французского журнала „Documents du progres“, но ещё нигде не появлявшуюся в печати».

Сборник «Литературный распад» вышел в свет в январе 1908 года. В журнале «Documents du progres» статья «О цинизме» появилась в мартовской книжке.

М. Горький начал писать статью для этого журнала в ноябре 1907 года (письма к Е. П. Пешковой. Архив А. М. Горького) и послал её К. П. Пятницкому в первых числах января 1908 года.

В статье «О цинизме» содержатся отдельные неверные положения «богостроительского» характера (см. примечания к повести «Исповедь» в томе 8 настоящего издания).

С цензорскими исключениями статья вошла в сборник М. Горького «Статьи 1905-1916 гг.», издание первое, без цензорских искажений напечатана во

втором издании этого сборника.

Печатается по второму изданию сборника М. Горького «Статьи 1905-1916 гг.»



Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.